

ИЗ ЗАЛА

СУДА

В. МАЛЬКОВ, С. ШЕНКМАН

# Лицом к людям

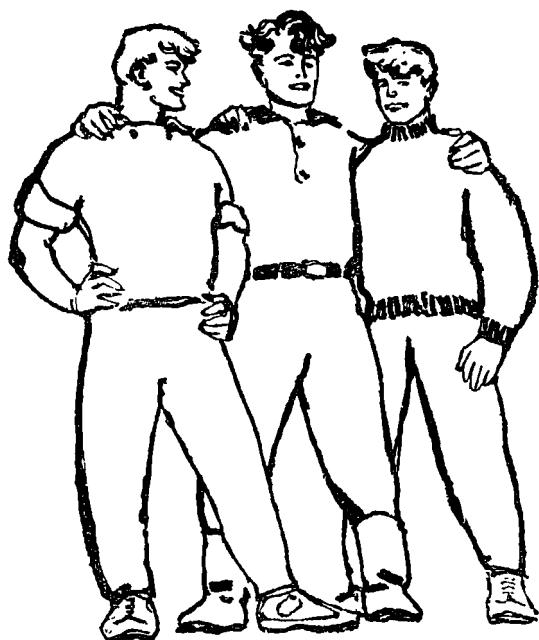


**ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЮРИДИЧЕСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ**



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЮРИДИЧЕСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ

*Москва . 1961*



В. МАЛЬКОВ  
С. ШЕНКМАН

# Лицом к югу

**34C6 + 39**  
**M 21**



**П**редстоящий выходной день всем хотелось провести как-нибудь необычно, интересно. Накануне совхоз обещал выделить машины, чтобы отправить на экскурсию в горы студентов педагогического института, приехавших на уборку урожая. Но неожиданно где-то обнаружился «прорыв», и грузовики отправили туда. Поездка к мощной горе Бабархан, которая недремлющим стражем стояла на границе между горным и степным Алтаем, сорвалась. Ребята приуныли.

— А идемте-ка пешком, — предложил плотный загорелый паренек с факультета иностранных языков Генка Туманян.

Многие засомневались:

— Пешком? Шестьдесят километров?

— А что? Так даже интереснее. У нас фактически два дня — суббота и воскресенье. Заночуем в палатках. Да и вообще звучит: «Уходим в горы!»

Размышлять долго не стали, а тут же обсудили, кому стоит идти. Все-таки шестьдесят километров за два дня — не шутка. С исторического факультета пошло восемь человек, из них четыре девушки, с иностранного — четверо: Палевин, Туманян, Сухопарский и Бубин.

С вечера приготовили три палатки, два топора, ведро, фляги, одеяла, ватники, рюкзаки. В восемь утра, когда открылась столовая, позавтракали, купили хлеб, консервы, сахар и отправились.

Идти надо было очень быстро: шесть-семь километров в час. До Половинок — последней деревни степного Алтая — пятнадцать километров. Их прошли за два часа. В тени какого-то сарая расположились на отдых. Сняли рюкзаки, разулись, закурили крепкую маршанскую махорку. Вот это переходик! Не только рубашки, но и рюкзаки промокли от пота. А солнце печет все сильней и сильней. Да, развлечение!

Пошли дальше. Бабархан медленно, но верно приближался. Вот уже видны купы деревьев на его склонах, каменные глыбы ближе к вершине. Оказывается, перед Бабарханом тянется цепь довольно высоких холмов. Прямо у их подножия течет мутный ручеек. Ребята искупались, перекусили, отдохнули и, наполнив фляги водой, двинулись дальше. Безобидные с виду холмы оказались коварными. Нет троп, трава в рост человека, к тому же за первой цепью холмов последовали вторая, третья и четвертая. Наконец, ребята на вершине последнего холма перед Бабарханом.

Вот она, гора неведомого хана Бабара. Она не страшна, наоборот, очень миролюбива, покрыта мягким зеленым ковром. Вдоль нескольких хребтов тянутся к вершине жиденькие рощицы каких-то деревьев.

— Ребята, а ведь за полчаса поднимемся, — говорит неопытный Сухопарский. — Выйдем к ближнему грешку, и он нас вытянет к самой макушке.

— Да-да, на лифте, и еще палатки поставит, — съязвил Палевин.

— Нет, серьезно. По-моему, ничего особенного.

— Об этом ты вон там расскажешь, — указывает на вершину рыжеватый историк Леня Семенов.

Мигом скатились с холма и тут же — вверх. «Не надо спешить, — думал Палевин, — шаг за шагом. Главное — ритм. Идем уже полчаса. Черт, как стучит в висках!»

Он шел к «ближнему гребешку». Оказывается, далеко упрятался этот проклятый гребешок. Глаза заливают потом. В виски стучит: «У-ка-та-ли Сив-ку кру-ты-е гор-ки». За час до этого Палевин и не предполагал, что будет так трудно подниматься.

Где же остальные? Он огляделся. Трое повернули влево, к другому гребню, остальные идут где-то ниже, рассыпались. Ему показалось, что другие идут довольно бодро. Вот он, гребешок, еще немного, чуть-чуть, шагов десять... Поднялся. Рюкзак долой. Один за другим подходят остальные. На Сухопарском лица нет. Он почти в обмороке. У других вид не намного лучше. Значит, горка, видно, действительно серьезная.

Отдышавшись, двинулись дальше. По гребню идти легче: не так круто, да и трава пониже. Натолкнулись на большую гряду валунов. Из расщелин ярко зеленели кусты малины и смородины. Все с жадностью набросились на ягоды. Собственно, собирать — это не то слово. Малина сама так и лезет в рот, крупная, спелая, оторваться просто невозможно. А по веточке смородины проведешь рукой — полная горсть ягод. Провозились, наверное, час, а конца ягодам не видно. Но вот сверху уже зовет остальных ушедшая вперед тройка. Взяли рюкзаки, пошли.

Стало быстро темнеть. Пора останавливаться на ночлег. Рая Ковалева наткнулась на родничок. Поставили палатки, быстро собрали хворост. Весело запрыгали ярко-оранжевые язычки. Теперь можно и отдохнуть. Устроились вокруг костра, поужинали. Ноет тело, болят ноги. Скорее спать.

Проснулся Палевин, когда солнышко уже приятно припекало. Историки ушли, один лишь Леня Семенов лежал на спине у потухшего костра. Вчера он сильно натер ногу.

— Не хотели они вас будить, догоняйте.

Генка и Виктор Сухопарский сразу же опять занялись малиной, а Палевин с Бубиным не спеша шли все



выше и выше. Наткнулись на узенькую тропинку, которая оборвалась у громадной каменной глыбы. Может, это и есть вершина? Осторожно, проверяя каждый выступ, поползли вверх по крутой стене. Наткнулись на карнизик шириной в ступню, он спиралью огибал глыбу. Еще несколько шагов... Нет, это не вершина. Она совсем рядом, чуть позади. Отсюда хорошо видно, что именно она венчает всю громадину Бабархана.

Спускаться гораздо труднее. Царапая грудь о камни, метр за метром ребята передвигались по карнизу, а потом дальше вниз. Вот и земля. Спрыгнули, пошли к вершине. Здесь гораздо легче. С валуна на валун, как по ступенькам, добрались до шаткой, неизвестно кем поставленной деревянной лестницы. Пять минут — и вот она, вершина.

Палевин не поверил своим глазам. Как в сказке! Подернутые сизой дымкой поля. Зеленые, желтоватые, серые. Далеко-далеко затерялось между ними село Половинки, а еще дальше коричневая полоска — их совхоз. Справа и слева узкими ярко-синими лентами выются Бия и Катунь. А сзади горы: желтые, коричневые, как на школьной карте. Над ущельем парит великолепный, самый настоящий горный орел.

Начали спускаться. Палевин увлекся ягодами, а Борис Бубин побежал вниз.

— Саша, Саша! — сверху с камня на камень прыгает Рая. Палевин поймал ее за плечи.

— Пусти, дурной, упадем!

Его рот рядом с ее пылающей щекой. Прикоснулся. Вот губы. Милые, нежные.

— Доволен?

— Нет.

— В таком случае побежали к нашим.

— Я доволен, доволен!

Но она уже тянет его за руку. Удержаться нельзя. Так и добежали до палаток: рука в руке и хохочут, сами не зная от чего.

Налегке, отдохнувшие, домой пошли веселее. Не доходя до деревни, увидели громадное картофельное поле.

— А не запалить ли нам костер и не пообедать ли молодой картошечкой? — предложил кто-то.

— Свежая мысль, — подхватил бригадир историков Геев. — Борис, что у нас осталось от пищи?

— Соль, чай и хлеб.

— То, что нужно.

Скинули рюкзаки и пошли собирать сушняк. Девчата тем временем накопили картошки, принесли откуда-то воду. Через несколько минут между двумя воткнутыми в землю рогульками весело затрещал хворост. Прямо к небу потянулся тонкий столбик дыма — ветра нет.

Чистить картошку не надо, достаточно хорошенько потереть ее в воде. Она ровная, крупная — такая же добротная, как все здесь, на Алтае. А до чего вкусна! Попахивающая дымком, в меру сваренная, она рассыпается на ладони. Хороша она еще и тем, что лежит в общей большой миске и берут ее оттуда не вилкой, а руками. Рядом с дымящейся миской — горка крупной соли да хорошие куски ржаного хлеба. Что может быть аппетитней?

А Семенов все-таки здорово натер ногу. Рая вздумала лечить его. Она покопалась в своем рюкзаке и вытащила большой плотный пакет, перетянутый резинкой. Вата, бинты, йод, какая-то бутылочка с прозрачной жидкостью.

— Что это, Раечка? — спросил Палевин.

— Спирт. Я сейчас семеновскую ногу протру.

— Лен, может ты его во внутрь примешь?

— А что, ребята, может, нам, действительно, эту жидкость... того? — засмеялся Генка.

— Да что там, жалких двести грамм на восемь душ. Порядочные люди кинули бы жребий, — предложил Бубин.

Девушки попытались было протестовать, но бутылочка уже перекечевала в руки ребят. Буйный азарт овладел всеми. Кто любимец фортуны? Восемь спичек решат этот вопрос. Генке досталась целая, Льву Гееву — тоже. Не повезло и Семенову.

— Ура! — закричал Палевин. — Моя сломана!

Под дружный рев он взял в руки бутылочку. А что дальше? Понюхал. Резкий запах ударил в нос. Эх, была не была! Рот обожгло, из глаз брызнули слезы. Судорожно схватил корку хлеба, пожевал картофелину, отдышался. Ну и дрянь! Свернул самокрутку. Глубоко затянулся. Раз, другой. В голове зашумело. Усыпанный звездами небосвод повернулся боком и, косо

покачиваясь, стал наезжать на землю. А ребята смеются:

— Ну как? Веселей стало жить на свете?

Из темноты вдруг выступил приземистый небритый старик в плащ-палатке и с двустволкой на плече.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — ответили хором с полными ртами.

— Откуда, однако, будете?

— Из совхоза, со второго отделения.

— Из Москвы, стало быть, студенты?

— Угу. А вы сторожем здесь?

Небритый, не отвечая, принялся вертеть самокрутку.

— Присаживайся, хозяин, к нам, угощайся картошкой, — Семенов сделал широкий жест.

— Спасибо. Свою имею, — недобро ухмыльнулся сторож. Помолчал. — Давно, однако, ворованной картошкой промышляете? — Зло полыхнул огонек самокрутки.

Вот так оборот!

— Тебе что, ведра картошки жалко? — первым нашелся Геев.

— Своей картошкой я бы вас угостил. А колхозной не ведро, а, пожалуй, десятины две накопано. Уже, однако, на грабеж похоже.

— Да мы первый раз здесь остановились!

— Не знаю, вы ли, кто другие здесь озоровали, а картошки нет, украли.

Прислонившись к дереву и в упор глядя на сторожа, Палевин с трудом пытался уловить нить разговора. Слово «украли», как пощечина, хлестнуло по лицу.

— Ты что же, ворами нас считаешь? Гад ты ползучий после этого!

— Ты сопляк против меня, и с пьяным с тобой говорить я не желаю.

— Ах, так! Не желаешь?

Ребята вскочили, но было уже поздно. Палевин ударил сторожа правой рукой в солнечное сплетение и тут же левой — в челюсть. Тот сразу как-то обмяк, надломился и боком рухнул на траву. Ружье глухо стукнулось рядом.

— Сашка! Что ты наделал! За что ударил чело-  
века!

Сторож приподнялся, сел. Опираясь на ружье, встал. Спокойно, очень спокойно он посмотрел на Палевина. Укоризненно качнул головой, одними губами сказал: «Эх...», плюнул и так же внезапно, как появился, исчез в темноте. Никто из ребят не шелохнулся. Все отвернулись от Палевина.

— Что же вы молчите? Скажите что-нибудь! — заорал он.

Никто не сказал ни слова. Он повернулся и пошел в поле. Шел, не разбирая дороги. Поле! Кажется, не будет ему ни конца, ни края. Тупая ненависть бродила в Палевине. «Товарищи... — горько думал он. — Чуть показалось им что-то не так, сразу отвернулись. Мне плевать на них. Я сам дойду. Или заблужусь и буду голодный бродить по этой идиотской степи. Пусть они бьют тревогу, отправляются на поиски. Пусть собирают собрание и критикуют меня. А я где-нибудь сдохну от голода. Пусть потом критикуют. Ничего, вон впереди огонек. Еще немного, и я буду спать. Да, спать. Пусть волнуются, пусть им попадет за меня, а я пересплю ночь и прямо домой. Стоп! Вот домик. Почему закрыта дверь? И эти против меня? Не хотят пускать. Я им покажу. Я не из тех, кто боится. Смелей, вперед!»

Дверь не поддается. Сзади крикнули:

— Ты что хулиганишь? Чего лезешь в чужой дом?

Раньше вор, теперь хулиган! Под руку Палевину попало что-то тяжелое. Кол!

— Теперь подойдите, попробуйте! Я вам покажу! Я себя в обиду не дам.

Удар, еще удар. Кто-то вскрикнул. «Что ж я делаю?!» — в ужасе подумал Палевин, бросил кол и побежал. Возле смутно белевшего сруба тихонько всхрапывал конь. «Вот это здорово». Быстро вскарабкался на крутую спину, ударил каблуками. Конь как-то странно скакнул вперед, споткнулся. «Черт, он же стреноженный!» Соскочил, обламывая ногти, распутал веревку на передних ногах, снова забрался на спину. Застоявшийся конь быстро вынес его на дорогу. Наперерез бежало несколько человек. Стиснув зубы, Палевин вздыбил коня, тот заупрямился, но повернул и понесся по картофельным грядкам. «Что, взяли? — думал Палевин. — Теперь ищи ветра в поле!» Он крепко обнял горячую мускулистую шею коня и, прижавшись

щекой к терпко пахнувшей коже, шептал: «Друзья... Я вас защитил, а вы...»

Он уже начал понимать, что сделал что-то ужасное и постыдное, но еще не хотел отдавать себе в этом отчет, а, наоборот, взвинчивал себя, ругая и ребят, и сторожа, и тех, кто гнался за ним.

Впереди блеснул огонек. Палевин хотел было объехать это место, но вдруг услышал музыку. Гармошка чисто выводила знакомую мелодию:

«Ты меня не ждешь давным-давно  
Так, как много лет ждала...»

Он вдруг решил, что этот мотив звучит сейчас специально для него. «Эх, Рая!» — подумал он и, подъехав к риге, возле которой танцевало несколько пар, прыгнул на землю. «Ты меня не ждешь... — звучало в ушах. — Ну и не жди, обойдусь», — соврал он сам себе, хотя сейчас, как никогда раньше, она была нужна ему, именно Рая и никакая другая девушка. В глубине души он чувствовал, что без нее уже не обойтись.

Потом ему показалось, что около гармониста сидит тот самый сторож, которого он ударил. «Не может быть! Здесь меня никто не знает», — подумал Палевин и, покачиваясь, направился к двум девушкам, стоявшим неподалеку.

— Девушки, разрешите вас а-ангажировать!

Они недоуменно посмотрели на него, пожали плечами.

— Не понимаете вежливых слов? Ну, ты, пойдем.

— Пойди проспись, потом придешь.

— Ах, так!

Вдруг кто-то схватил его за руку. Спокойный и знакомый голос произнес:

— Правильно, пойди проспись.

Резко повернувшись, Палевин увидел сторожа.

— Снова ты? Ну, держись!

Все вокруг завертелось: ноги танцующих, земля, гармонист. Он чувствовал под руками горло старика и давил. Музыка смолкла. Послышались негодующие возгласы. Чьи-то сильные, грубые руки сжали плечи Палевина. Ему сразу стало тесно и душно.

— Скорей врача, старику плохо! — раздался женский голос. — Эх ты, а еще студент.

Палевина крепко держали двое парней. Женщина в сбившейся косынке что-то горячо рассказывала окружающим, показывая на него пальцем.

— Эх, парень, где твоя совесть?

Он рванулся. Держат крепко. С какой радостью он убежал бы в степь! Туда, где нет этих людей, их укоризненных взглядов.

— Поймали! Довольны? Нате, бейте, сажайте! — он захлебнулся.

\* \* \*

Потрепанный «козлик», тряская дорога, брезгливые взгляды шофера и двух парней. Машина председателя, а в ней Палевин, пьяный, нашкодивший. Везут, наверное, в милицию. Но что это? Знакомые палатки второго отделения!

— Я дома?

— Иди, парень, проспись. Утро вечера мудренее.

Прошла ночь. С утра моросил дождь. Студенты вышли полоть свеклу. Не было привычного смеха, разговоров. Палевина не замечали. Перед обедом пришел на участок политрук отряда студентов Харламов и сухо сообщил, что вечером будет комсомольское собрание. Все молча кивнули.

Солнце долго боролось с тяжелыми тучами и, наконец, одолело. Оно подсушило ботву, согрело землю. Вдали уже показался грузовик с обедом. Но вдруг что-то затарахтело, застучало, и, обгоняя грузовик, на дороге вылетел мотоцикл с коляской. Он подкатил к свекльному полю и резко затормозил. Приехали двое в милицейской форме. Они подошли к работавшим у самой дороги девчатам и что-то спросили. Сердце Палевина тревожно забилось. Милиционеры приблизились.

— Кто Палевин?

— Я.

— Поедем с нами.

У него дрогнули колени.

— А что такое?

— Ночью в больницу доставили колхозного сторожа Пинчука. Он в тяжелом состоянии. Вопросы еще есть?

Палевин оглянулся. Ребята и девушки стояли вокруг них плотным кольцом. Потные, грязные, усталые. Одни в упор смотрели на него, другие потупились, от-

водили глаза в сторону. За их спинами чернел мотоцикл. Палевин молча шагнул к нему, медленно прошел мимо ребят, сорвал на ходу лист ботвы, сжал в кулаке. Сел в коляску. Мотоцикл стрельнул несколько раз и рванулся вперед.

— Отличился, — сказал милиционер. — Теперь суд будет.

\* \* \*

В первый день Палевин находился в одной камере с трактористом Сергеем, которого задержали за браконьерство. Он довольно-таки спокойно ожидал суда. К вечеру, разговорившись с Палевиным, Сергей сказал:

— Сколько мне положено, столько и дадут. Судить будут люди, а они разберутся, что я из себя представляю, как работал, много ли грешил. А что не вовремя ружье взял, не отрицаю. За это всыпать полагается. И другим наука. Да что там! Споткнулся — не упал. Руки-ноги при мне, голова тоже. С лопатой или топором поработаю не хуже других, а вернусь — снова трактор попрошу. Жаль, он сейчас несерьезному парню попал, а я, как назло, свечи не успел поменять.

Сергей деловито расспрашивал Палевина о том, как работают на целине московские студенты, хорошо ли зарабатывают, как сейчас выглядит Москва. Потрясенный всем происшедшим накануне, Палевин сперва невнимательно слушал Сергея, односложно отвечал на его расспросы. Потом он почувствовал потребность выговориться и рассказал ему о вчерашних своих злоключениях, о себе.

— Знаешь, меня не раз называли индивидуалистом. А отчего я стал таким? Никто ведь не учил меня: живи, мол, не для людей, а для себя. Нет. Наоборот, мне давали читать хорошие книжки Гайдара и Островского. И я завидовал пацанам из этих книг, успевшим понюхать пороха. Были хорошие книжки, пионерские сборы, комсомольские собрания... Помню, когда я был маленьким, меня ставили на стул, и я с выражением рассказывал гостям «Муху-цокотуху». Они хлопали, ахали, называли меня вундеркиндом и будущим лауреатом. И все: родители, знакомые, учителя — всегда ждали от меня чего-то необыкновенного. Я и сам стал ждать. Ждал,

но, между прочим, мало что делал. В основном хватал верхушки знаний. И мне почему-то казалось, что я имел право считать себя выше окружающих. Так уж получилось, что в центре моих интересов всегда был я сам. Школа, пионерлагерь, институт — все это лишь этапы развития моей индивидуальности. Там были коллективы, и неплохие коллективы, но я проходил мимо них. Что же сделало меня индивидуалистом? Думаю, что чего-то мне не хватало. Но чего?

— В прежние времена сказали бы, что тебя в детстве, мол, мало пороли, — Сергей встал с нар и прошелся по камере. — Но главное, не работал ты, брат, никогда толком. Этого тебе и не хватало. Знал бы настоящее дело, настоящий труд, тогда бы не мудрил попусту.

— Это ты, пожалуй, правильно говоришь. Я на целину добровольцем поехал, но все равно, честно говоря, немного побаивался, как-то тревожно было на душе. Знал, что работа будет тяжелая, а я к ней не привык, хоть и силы не занимать. Еще в поезде, когда ехали, нет-нет да и мелькнет у меня мыслишка: стоило ли, зря, может, еду? А потом думаю: неужели слабее других? И с самого начала взял себя в руки. Но первые дни, помню, трудно пришлось.

Не так легко, например, было приспособиться к алтайскому климату. Ночью страшный холод. Все теплые вещи, что я привез с собой: лыжный костюм, свитер, шерстяные носки, приходилось перед сном натягивать на себя. Кто-то подал мысль спать по двое. И теплее, и одеяла используются лучше. Поднимается солнышко, встаем и, представляешь, начинаем раздеваться. А позже, часам к десяти, солнце начинает так палить, что у многих под его лучами на спине вздувались волдыри. Как-то я опять подумал: на кой черт мне нужно все это! Сидел бы я сейчас дома или где-нибудь в Сухуми. Не знал бы ни забот, ни огорчений. Так почему же, думаю, я здесь? Хорошо это или плохо? Здесь не ценят моего остроумия, а уважают, как говорится, за «злость в работе». Здесь я ни разу не слышал разговоров о моих способностях, но скупая, сквозь зубы, похвала худого и несимпатичного полевода почему-то очень приятна. Потом привык к работе, втянулся и стал выполнять и даже перевыполнять норму чуть ли не вдвое.



Ты, между прочим, не думай, что мы чувствовали себя несчастными. Нет, настроение было хорошее. Особенно здорово было вечерами, когда мы собирались все вместе и потихоньку пели под гитару. А небо глядело сквозь дыру в палатке яркими алтайскими звездами. Хорошо. Вокруг степь, хлеба. Большие города далеко. В такие вечера не хотелось громко разговаривать. Тихо брэнчала гитара, и два десятка славных ребят, моих друзей, тихонько пели о лихом шофере, сложившем голову на опасном монгольском тракте. Все-таки хорошо мне было с ними.

Палевин глубоко вздохнул, задумался. Сергей молчал.

— И еще. Когда сюда ехали, я девушку одну в вагоне встретил. Она мне сразу бросилась в глаза. Высокая, рыжеватые косы, светло-серые глаза. Наверно, думаю, звать ее Таней. Такое открытое лицо, такой певучий голос может быть только у Тани. Ее окликнули: «Раечка, где у нас консервы?» Девушка обернулась. А все-таки, думаю, ей больше подходит быть Таней. Я с ней заговорил, сказал, что она мне нравится. Ух, как она вспыхнула, как залилась краской! С тех пор она не выходит у меня из головы... И вот теперь, когда я здесь, и все это хамство произошло у нее на глазах, мне вдвойне горько, так горько, что жизнь не мила...

\* \* \*

Утром Палевина перевели в другую камеру. А через несколько дней он услышал, как после уже привычного лязга железного засова голос надзирателя выкрикнул:

— Палевин! На суд!

Дрожащими руками он одернул рубашку и, сопровождаемый конвоем, вышел во двор тюрьмы. Зажмурился, жадно вдохнул свежий воздух. Вокруг низкие кирпичные домики с решетками на окнах, забор, увитый колючей проволокой. За этим забором шла большая жизнь. Там, далеко в степи, остались студенческие палатки, бесконечные поля, ребята, Рая...

«Что-то они там говорят обо мне, о конченном человеке? — думал он. — Станный вопрос. А что я сам сказал бы в таком случае? Я бы сказал, пожалуй; что человек, который напился как свинья, а потом поднял

руку на старика, должен быть в изоляции. Должен наедине с самим собой хорошенько разобраться во всем, как следует понять то, что он сделал. И не просто понять, а каждой своей клеточкой прочувствовать. Ведь мое преступление рождалось еще тогда, когда мне впервые пришла в голову мысль о том, что я «возвышаюсь над средним уровнем». Если бы я по-настоящему уважал людей, я никогда бы не ударил человека, упрекнувшего меня в пьянстве. И кого ударил? Да еще как! Противно вспомнить. Старика, деда. Просто гнусно.» Он зло сплюнул, как будто думал сейчас не о себе, а ком-то другом.

...Трудно было назвать залом суда это просторное, светлое помещение, с длинными рядами скамеек, с высокими окнами, с лозунгами о необходимости экономить горючее, бороться с прогульщиками и провести уборку в предельно сжатые сроки. Это был обычный сельский клуб, в котором быстро убираются скамейки после доклада и начинаются танцы. В котором прокручивают кинофильмы, и на экране проходит полная удивительной романтики жизнь. В котором решаются многие важные дела, но никогда еще не решалась человеческая судьба.

На невысокой сцене стоял покрытый зеленой скатертью стол с неизменным графином. Три стула вдоль стола и один сбоку для секретаря.

Людей в зале становилось все больше и больше. Обычно они приходили сюда запросто, с веселой шуткой. Сегодня же все старались говорить шепотом. Что-то заставляло людей чувствовать себя гостями в родном доме.

На сцену вышла рыжеватая девушка с подкрашенными губами и стала вызывать свидетелей. Палевин посмотрел в зал. Сотни глаз. Черные, голубые, карие. Незнакомые и знакомые. Вот Бубин, Туманян, Геев, Рая. Он отвернулся.

«Да, сидеть придется — подумал он. — Как сказал следователь, с учетом молодости и хлопот товарищей пару-тройку лет дадут наверняка, а то и больше. Нет, не хочу, чтобы они видели мой позор. Сейчас выйдет суд, и я скажу, что при них говорить не буду. А о чем это Харламов беседует с адвокатом? Чего ему-то надо? Хочет произнести пламенную речь, сказать, что тюрьма

явится для меня хорошим средством воспитания? Что все ждут сурового и справедливого приговора? Сам знаю! Нет, буду просить суд удалить их».

Местные жители, привставая, разглядывали Палевина, обменивались мнениями:

— Смотри-ка, какой здоровый, работать бы ему да работать, а он ишь чем занимается. Таперица ему будет, — оживленно говорил бойкий старичок, из тех, что не пропускают ни одного суда. — Я наперед знаю, годиков пять верняком подбросят.

— Ох, что ты, куда так много-то? Ведь молодой еще, мало ли что бывает, — сочувственно охала пожилая женщина.

— А ты что думаешь, к папке с мамкой отпустят? Не затем брали!

— Выпороть бы его, да так, чтобы пару недель сидеть не мог и вкус водки забыл бы, а не то, что рукам волю давать, — довольно громко сказал бородатый мужчина.

Вот за один из столиков, стоявших у сцены, сел высокий сухошавый человек. Резкие черты лица говорили о том, что от прокурора пощады не жди. На Палевина он даже не посмотрел, как будто того вообще не существовало.

Внезапно загрохотали отодвигаемые скамейки. Из боковой двери вышли три человека. Это судьи. Все встали. Мужчина в сером костюме, прихрамывая, подошёл к столу. Спокойным, ровным голосом он объявил выездную сессию народного суда открытой.

Нё таким Палевин представлял себе судью. Невысокий, с редкими седоватыми волосами ежиком, усталым лицом и светлыми глазами, он не был похож на грозного блюстителя законов. Его окаяющий голос напоминал неторопливые рассказы о рыбалке. От его фигуры, по-домашнему спокойной, веяло теплом и уютом, и это никак не вязалось с торжественно-суровой обстановкой судебного заседания.

Судьи спокойно посматривали в зал. «Что ж, — подумал Палевин, — перед ними много проходит таких, как я, и им, вероятно, совершенно безразлично, что думает и переживает какой-то Александр Палевин, случайно попавший в этот край и на эту скамью».

— Кто начальник конвоя? — спросил народный судья.

— Я, товарищ председательствующий, — встал сержант.

— Посадите подсудимого лицом к людям. Пусть он смотрит на них, да и люди пусть его видят.

Скамью перенесли в сторону, и теперь Палевину хорошо были видны и судьи, и зал. Так же хорошо со всех сторон был виден и он, сидящий на скамье подсудимых.

Один за другим подходят к столу и расписываются свидетели: Туманян, Сухопарский, Геев... В голову Палевина полезли подленькие мыслишки: «Свершилось бы сейчас чудо! Сказали бы все ребята, что ничего не видели, ничего не знают. Что им стоит? Эх, товарищи! Нет, ни один не скажет обо мне доброго слова... Боже мой, о чем я думаю? Кто должен говорить обо мне добрые слова? Обо мне, так безобразно нашкодившем! Не надо малодушничать. Заварил кашу — теперь расхлебывай... Скорей бы все кончилось. А потом? Потом опять камера. Большая, прямоугольная, с тяжелой дверью. И совершенно разные люди, у каждого из которых своя незавидная судьба... Карманный воришка с бегающими глазами и шмыгающим носом — уличная «работа» вредно отразилась на здоровье. Пожилой заведующий ларьком, «поплывший на селедке». Небритый конюх, который вечером здорово «поддал», а утром проснулся в милиции...

\* \* \*

Да, любое место там, в зале, было бы для Палевина самым большим счастьем. Каким же он был дураком, когда мечтал о Сухуми. Самое лучшее место в мире — это студенческая целинная палатка. Там, с ребятами. Как все было здорово! Даже в самые трудные дни. Он вспомнил: ровно неделю лил дождь, и из палатки невозможно было выйти. Об этом алтайском дожде нельзя было сказать: он идет. Он прямо-таки выливался из какого-то гигантского резервуара, причем выливался без перерывов. Работать в поле было невозможно. Единственное, что приходилось делать — это сооружать вокруг палатки сложную сеть отводных каналов, чтобы ее не залило. Туго пришлось тем, у кого не было сапог. Их жизнь проходила на нарах, а в столовую ездили верхом друг на друге, покрывшись одним пла-

шом. С центральной усадьбой — лишь телефонная связь.

Два десятка здоровых парней, выбитые из ставшего уже привычным рабочего ритма, валялись на нарах, закутавшись в одеяла. Чем заняться? Написаны письма и прочитаны все книги, рассказаны все анекдоты и биографии. Внутри этих четырех брезентовых стен — весь их мир. Сходят понемногу трудовые мозоли и рубцы. Первые два дня были приятны: передышка, отоспались. Но потом стало грустно. Выход предложил Харламов. Шахматный турнир! Но доска была только одна, а Бубин играл первую партию с Семеновым чуть ли не полдня. Остальные сперва с интересом наблюдали за игрой, потом наскучило.

Кто-то предложил пока попрыгать через широкий проход с одного ряда нар на другой. Прыгали, прыгали, а потом Туманян оступился и обрушил все свои семьдесят пять килограммов на единственную шахматную доску. Она сломалась, а фигуры разлетелись так далеко, что искать их не имело смысла в грязи и лужах. Бубин чуть было не полез на него с кулаками: он выигрывал. Но его быстро успокоили.

Однажды ночью к палаткам второго отделения провалился на лихом коне сам директор совхоза Грушо. Он увидел громадную кучу намокшего зерна, схватился за голову и чуть не заплакал.

— Вредители! Зерно губите! Немедленно убрать под ригу!

И тут началось. Подъем! Аврал! Выскочили из палатки. Темнота, холод, дождь. Грушо объяснил, в чем дело. Гибнет зерно, пятьдесят тонн. Надо его срочно перетаскать в мешках под ригу. Натягивали на себя все, что попадало под руку. Бегом, как в атаку, побежали к зерну. Девчата уже насыпали его в мешки. Палевин присел, крикнул, и вот мешок на спине. Подкинул его повыше, поближе к шее, и бегом к риге. Высыпал и бегом обратно. Боже, что это было за зерно! Вместо крупного золотого песка — посеревшие, слипшиеся комки. Но их надо спасти. Мешки сразу одеревенели, сапоги покрылись пудовым слоем грязи и зерна, но все бегают. К риге и обратно. Проходит час, другой, третий. Силы иссякают. Но каждая минута — это пуды хлеба. На обратном пути можно опустить и расслабить руки. Еще

час, два. Куча зерна заметно тает. Но тают и силы. Давай, давай! Каждый заставляет себя по-разному. Туманян за ночь не произнес ни слова, а вот Геев, бригадир историков, наоборот, не закрывает рта, все время ругает управляющего отделением, сгубившего зерно. А Палевин был тогда дико зол. И не знал толком, на кого злился. В голове одна мысль: быстрее, быстрее! Стиснув зубы, хватал скользкий мешок, бежал с ним под крышу и там, прижавшись щекой к пропитанной бурой грязью мешковине, прямо с плеч, слегка пригнувшись, высыпал спасенное зерно.

— Шабаш! Кончай работу!

Руки и ноги дрожали от усталости. А на душе у всех весело. Очень трудно было заставить себя таскать мешки бегом, а все-таки заставляли. Это, наверное, самое приятное. И еще очень жалко было живое гибнущее зерно. Теперь оно спасено, лежит под крышей, отдыхает. Что может быть лучше этого?..

А сейчас бывшие товарищи Палевина там, в зале, а он на скамье подсудимых. У них скоро опять начнутся занятия в институте, опять лекции, вечера, а у него...

\* \* \*

— Подсудимый Палевин, вам понятно, в чем вас обвиняют?

— Да, понятно.

— Виновным себя признаете?

Палевин опустил голову. Вот вопрос, которого он ждал, к которому готовился, а теперь все же не знает, что ответить. Он вспомнил, что ему советовали в камере.

— Да ты пойми, — убеждал его парень по кличке «Золотой», — ведь тебя на гоп-стоп берут. Все отрицай. Смотри на нас. Нас на голое постановление не возьмешь! Где доказательства? Мы знаем травим: нахалку, мол, вяжут, дело шьют.

И хоть противно было слушать, но где-то в глубине души таилась надежда: «Может, попробовать, может, свобода?»

Свобода! Он закрывал глаза и видел улицы, обыкновенные улицы города. Светит солнце. Едут трамваи, автомобили. На тротуаре, расчерченном квадратами, скачут девочки. Идут женщины с детишками, которые

смотрят на мир широко открытыми глазами, полными изумления и восторга.

Но не только такой представлял Палевин свободу. Он видел своих друзей: Генку, Сухопарского, Бубина, Раю. Ему просто необходимо быть с ними, чувствовать, что нужен им, что вместе с ними делает хоть маленькое, но общее дело. Оказывается, это счастье — чувствовать, что ты нужен людям, что ты свой среди них. Да, теперь он знал, что свобода — это не только он. Это большой и сложный мир. Это коллектив его товарищей. Ему бы хотелось сейчас сидеть на каком-нибудь собрании. Видеть коллектив, этот большой живой организм, в действии. С его сотнями реплик и замечаний. Видеть эту монолитную массу, которая, отвечая ораторам, голосует «за» или «против». Все-таки большое счастье быть членом коллектива...

Свобода... В камере воры пели о ней в тоскливых песнях о загубленной молодости, о зря прожитых днях. И даже самые отпетые иногда грустили. Грустили грубо, затаенно, но все же грустили. Вспоминали мать-старушку, родимый дом и, стыдясь признаться, свою прежнюю работу, старых товарищей, честную жизнь. Да, и у них были хорошие товарищи, и у них было желание стать настоящими людьми. Но где-то, на каком-то «трижды проклятом месте» они споткнулись, и так же, как Палевин, когда-то впервые попали в камеру. «Наверное, так же, как когда-то от них, — подумал он, — сейчас мои товарищи отрекутся от меня...»

Внимательно, в упор смотрят на него судьи, смотрит весь зал. Нет, врать нельзя.

— Да, признаю, — тихо выдавил, наконец, Палевин.

— А теперь, — председательствующий слегка откинулся на стуле, — расскажите нам подробно, как все произошло. Как получилось, что студент, советский студент, стал преступником?

Надо говорить правду. Пусть это будет выглядеть не особенно привлекательно, но надо.

— Остановились мы на привал, наварили картошки...

— А где картошку взяли?

— Картошку где взяли? В поле.

— Украли, значит?

— Да, вроде.

Покраснели, опустили глаза сидящие в зале ребята.

— Но мы не считали это кражей, — продолжал Палевин. — Думали, что... Вернее, ничего не думали, просто взяли и все.

— А теперь вы понимаете, что это кража?

— Да.

— Чем же объяснить такое просветление?

Действительно, чем объяснить, что сейчас многие вещи воспринимаются иначе и яснее, чем раньше? Ведь нельзя сказать, что раньше он вообще не задумывался над тем, что делал. Но сейчас он знал, что многое в жизни не ценил и как следует не понимал. Считал, что его это просто не касается, что у него есть свои дела, а остальное не так важно. Стыдно рассказывать про такую жизнь, а не рассказывать нельзя: подумают, что приспособливается к обстановке, слишком быстро все понял, со всем соглашается. Надо сказать. Ведь иначе люди не поймут, почему он теперь смотрит на многие вещи по-другому. Но как сказать? К горлу подступил комок. Палевин проглотил слюну и начал...

Кажется, судьи его поняли. Потом он рассказал, как выпил спирт, как ударил сторожа, как ворвался в деревню.

Один за другим подходили к столу свидетели. Какими-то чужими голосами рассказывали его бывшие товарищи о нем. Коротко, с осуждением. И это было понятно. Но каждый из них заявил, что будет лучше, если Палевин останется с ними, что он, очевидно, уже многое понял сам, а они помогут ему стать настоящим человеком. Говорили, что он может хорошо работать и что плохое в нем они ликвидируют быстрее и лучше, чем тюрьма.

Палевин не мог смотреть им в глаза. Ему было стыдно, что еще совсем недавно он плохо думал о них, не верил в них. Ему казалось, что теперь он легко перенесет любое наказание. Гордость за своих товарищей заполнила его сердце. Когда Харламов сказал, что коллектив считает возможным взять его на поруки, он не поверил своим ушам. Этот аспирант с истфака, строгий, педантичный парень в простой солдатской гимнастерке поколебал его последние сомнения. Теперь он знал, что там, в колонии, не подведет своих друзей и вернется другим...



Суд удалился на совещание. Палевина вывели из зала.

Он сидел в маленькой комнатке, освещенной тусклой электрической лампочкой, и думал о своей жизни. Ему было стыдно и больно. Стыдно за прошлую жизнь, за то, что не понимал многого, хотя мог понимать, что сторонился людей, а мог быть вместе с ними, что так глупо прощается теперь с юностью. Больно потому, что поздно все понял, что ему, конечно, не поверят, и, как говорили в камере, «срок обломится», а с этим сроком сломается и жизнь...

А в совещательной комнате в это время трое судей решали его судьбу. Они понимали, что не могут посадить за решетку этого человека. Страстные слова его товарищей, суровые, но справедливые, волновали каждого из судей. Торопил гул большого зала. Там люди обсуждают, думают и ждут их решения. А они, три человека, сидели и колебались. Ведь по закону парня надо лишить свободы. Он преступник. Но бывает, что человек случайно совершает преступление, а вся его жизнь говорит за веру в него. И еще они думали: не зря так горячо просят за него товарищи, они искренне верят в Палевина и сумеют поддержать его, сумеют сделать из него человека. А ведь это очень хорошо, когда люди верят оступившемуся и когда перед лицом товарищей он сам осуждает свой поступок.

Палевина снова ввели в зал. Вошли судьи. Председательствующий не спеша стал читать приговор.

... — Вина подсудимого, помимо собственного признания, доказана материалами дела и показаниями свидетелей...

Все ясно! У Палевина пересохло во рту. Он смотрел на судей. Не поняли они его. Не поняли, что он уже стал другим... Когда же, наконец, главное? Когда скажут, на сколько лет они вычеркнули его из жизни? Он до боли сжал пальцы. Кажется, сейчас...

— Однако, принимая во внимание то, что Палевин в прошлом не был судим, что он чистосердечно раскаялся, а также учитывая просьбу комсомольской организации...

«А зачем вам мое раскаяние? — пронеслось у него в голове. — Говорите уж главное: сколько? Сейчас скажет, сейчас...»

— ...Приговорил: Палевина Александра Сергеевича... подвергнуть лишению свободы сроком на три года условно...

Не выдержав, он опустился на скамью. Конвойный заставил его снова встать.

— Возложить на комсомольскую организацию педагогического института обязанность по перевоспитанию и исправлению Палевина...

Условно!

— Вам понятен приговор? — спросил судья.

И тут Палевин увидел его лицо, усталое, сразу как-то осунувшееся. Лицо человека, много и тяжело поработавшего. Палевину было все понятно.

\* \* \*

Когда студенты вернулись на свое отделение, директор совхоза Грушо попросил тут же провести комсомольское собрание. Устроились в самой большой палатке. На нарах места не хватило. Принесли из столовой скамейки, табуретки.

Посреди палатки — стол. За ним директор совхоза Грушо, пожилой лысый мужчина. Лицо, руки, лысина покрыты шоколадным загаром — в кабинете так не загорись. Рядом с ним Жора Варавин, Харламов и член парткома совхоза.

— Товарищи! — начал Харламов. — Сегодня многие из вас присутствовали на судебном разбирательстве дела студента Палевина. Тем, что Палевин получил условное наказание, вопрос еще не снят. На повестке дня нашего чрезвычайного собрания разбор поступка Палевина, а также факта хищения колхозной картошки студентами двух бригад. Собрание прошу не затягивать, быть краткими. Слово имеет товарищ Грушо.

— Что делают с мародерами во время боя? Расстреливают!

Все затаили дыхание. Многообещающее начало! Вид Грушо таков, что он и впрямь готов кого-нибудь расстрелять.

— У нас здесь тоже вроде боя. И вот в эти дни несколько студентов совершили грязный поступок. Возвращаясь с Бабархана, они накопали колхозной картошки. Внимание! Читаю проект приказа по совхозу

«Урожайный». Первое. За хищение колхозной собственности объявить выговор студентам педагогического института... — он перечислил фамилии членов двух бригад, ходивших к Бабархану. — Второе. За злостное хулиганство Александра Палевина расчитать, а дело на него передать в комсомольскую организацию института.

Гробовое молчание. Палевину захотелось встать, закричать во весь голос: «Товарищи! Дорогие, родные! Это невозможно. Я не могу без вас. Три часа назад вы спасли меня. Так не отворачивайтесь же, не выбрасывайте меня, как котенка, теперь, когда я все понял, все научился видеть другими глазами!»

— Разрешите высказаться, — попросил Генка.

— Только покороче, через двадцать минут товарищ Грушо уезжает.

— Дело, товарищ Грушо, обстояло совсем не так серьезно, как вы написали в приказе. Возвращаясь с Бабархана, мы сварили ведро картошки. После только что состоявшегося суда мы поняли всю неприглядность своего поступка. Но тогда никому не пришла в голову мысль о воровстве. Мы все, безусловно, виноваты. Нас, конечно, надо наказать. Но нельзя выгонять сейчас Палевина, перевоспитание которого нам доверил народный суд.

Встал Семенов.

— Товарищ Грушо, мы знаем: вы хороший директор совхоза и, вероятно, хороший коммунист, но в данном случае вы не правы. Палевин должен остаться с нами. Так решил суд. Александр достаточно наказан, а вместе с ним и мы тоже. Нельзя толкать человека в пропасть. Если эти мои слова вас не убеждают, то я официально заявляю: вместе с Палевиним в Москву уезжаю и я. Это мое последнее слово.

Но Грушо не так просто сломить. Немного помолчав, он произносит:

— Хорошо. В приказ будет вписан и Семенов!

Опять вскакивает Генка.

— Хватит! Ты выступал, — говорит Харламов.

— Нет, не хватит! — заорал Генка. — Я не могу бросить друзей. Вы, ребята, как хотите, а я уезжаю вместе с ними!

Поднялся шум. Все заговорили одновременно. Когда немного успокоились, слово попросил Геев.

— Товарищи, мы здесь посоветовались и решили,

что если уедут наши ребята, то вместе с ними отправятся в Москву и остальные девять человек.

Наступила напряженная тишина. Вдруг встала Рая.

— Нет, как же так? Мы уедем, а сейчас ведь каждая пара рук — это хлеб. Вы не имеете права нас отпускать!

Поднялся Генка и положил ей на плечо руку:

— Ты права. Мы говорили глупости. В других условиях можно было бы так поступить, а сейчас нас вдвойне надо высечь, чтобы не болтали, не подумав. Но что делать?

— У меня есть конкретный план, — сказал Варавин. — Ребят мы не отпустим. Из совхоза никто из двенадцати не уедет, работать им никто не запретит, а прокормить их мы сможем сами.

Тишина. Грушо задумался. Закурил папиросу, глубоко затянулся.

— Что ж, ребята, это хорошо, что вы так деретесь за товарищей, это по-комсомольски. Но я не уверен, правильно ли мы поступим, оставив Палевина здесь? Он должен быть строго наказан. И второе: не ослабит ли это дисциплину?

Что тут началось! Крики, гомон. Когда установилась тишина, Грушо не было. Варавин провозгласил:

— Комсомольское собрание продолжается. Вношу предложение: всем, ходившим к Бабархану, объявить выговор, а Палевину — строгий выговор...

\* \* \*

Палевин вышел из палатки. Так хорошо, свободно под этим темно-фиолетовым куполом. Он глубоко-глубоко вздохнул. Скорее спать. Голова лопается. А мысли лезут, напирают. «Друзья! Поверили в меня! Поверили в то, что меня можно исправить и без тюрьмы. Поверили и сумели отстоять свою веру!..»

Долго еще после этого памятного дня ему стыдно было за свой ужасный поступок. Но ребята ни словом, ни намеком не напоминали ему о суде, о собрании. А он хотел чем-нибудь заслонить то страшное пятно. Палевин так вцепился в работу, как будто постоянно старался доказать и себе, и другим, что он не такой уж плохой, что не зря ребята дрались за него на суде и на собрании.

Кто там фарисействует, кто хихикает над великими словами о том, что счастье — это труд, труд в коллективе среди друзей! Палевин по-настоящему был счастлив в эти незабываемые дни уборки целинного хлеба!

Вихрем кружились ребята дни и ночи на току. Нагружали и разгружали машины, сушили и очищали зерно, ссыпали его в бурты. Грузовики шли сплошным потоком, ждать они не могли. «Давай, давай!» — стало чуть ли не девизом.

— Давай, давай! — стучит зерносушилка. — Мой бункер пуст, он просит зерно!

— Давай, не задерживай! — гудит в поле комбайн. — Я жду машину, чтобы освободиться от золотых зерен.

— Давай, давай, скорее! — визжит зернопогрузчик. — Видишь, на моем транспортере еще есть место. Чаше махи своей деревянной лопатой!

Надо спешить. Со дня на день могут опять пойти беспощадные алтайские ливни, погибнет неубранный хлеб. Давай, давай! Рабочий день не нормирован. Кто не спит, тот работает.

Часто будили среди ночи. Сперва Палевину снится, что его кто-то будит, потом уже ясно, что это не сон и надо сейчас же вставать, не мучить себя, кутаясь в одеяло. Первое ощущение — темнота. Организм протестует. Молодому телу явно недостаточно четырех часов сна. Быстро свернул сигарку и вдохнул в себя едкий дым маршанской махорки. Противно во рту, но он уже чувствует пронизывающий ночной холод, различает лица ребят, натягивающих сапоги и ватники, слышит, как они вполголоса говорят о том, что опять аврал, будь он не ладен, снова срочная работа. Обулся, надел ватник и пошел на ток таскать мешки или нагружать машины...

Кончался сентябрь. Пришла пора уезжать. Студенты сидели перед палатками на чемоданах, ждали машин. Заклубилась пыль на дороге. Показалось штук десять трехтонок. Но почему так много? Из первой машины выскочил Грушо.

— Друзья, вы знаете, что у вас на току лежит тонн тридцать зерна. Покажите еще раз, что такое комсомол. Это зерно нужно срочно погрузить на машины.

— Чем грузить? Погрузчики увезли.

— Мешками!

— Покажем напоследок класс?

— Покажем!

Вот это была работа! Песен, правда, ребята не пели. Но пели их ноги, пели руки, пели мешки, летавшие на их спинах. Пело все внутри. Сияло осеннее холодное солнце. Может, именно оно впрыснуло в них неистощимую поющую энергию? Куда девать силы? Почему такой легкий мешок? Какая радость, взметнув его на плечо, домчаться до грузовика и сходу закинуть мешок через борт. Сияющие лица. Это лучше песни.

— Шабаш, орлы! Мне бы ваши двадцать лет! — машет руками Грушо.

\* \* \*

И вот они в поезде. Теперь он мчится на запад. Луга сменяются лесами, которые уже успели пожелтеть, оживленными станциями, опустевшими полями.

На каком-то полустанке поезд стоял полчаса, и прямо на насыпи успели провести комсомольское собрание. С ребят сняли выговоры. А Палевину придется еще подождать.

На одной из станций Варавин купил громадную бутылку грузинского вина. Поставил ее на шаткий столик и провозгласил:

— Прошу к столу!

— Ты что, смеешься над нами?

— Кто пьет только водку, может отказаться.

Таких, однако, не нашлось. Выпили отмеренные граммы, и Бубин потянулся за гитарой. Тронул для порядка струны и вдруг запел чеканную «Дан приказ ему на запад...». Дружный хор крепких мужских голосов подхватил песню и довел ее до конца. Потом помолчали.

— Значит, хлопцы, сегодня в Москве будем, — прервал молчание Лев Геев. — Я рад, что съездил. Через эту целину я бы в обязательном порядке всех студентов пропустил. Очень, по-моему, полезная вещь. Вот приеду, меня спросят, что, мол, ты привез с целины, с Алтая. А мне и похвастаться нечем. Домой везу всего пятьсот рублей. Но я плевать хотел на деньги. Мы же не за длинным рублем туда поехали, верно? Но зато я везу с собой замечательных друзей, за каждого из которых в любой момент готов голову сложить.

— Ребята, ребята! Слушайте, я скажу.— Палевин поднялся, обнял Льва и Генку.— Вы простите, если я буду говорить немного напыщенно. Я раньше не знал, что такое коллектив и дружба. Коллективом называл первичную комсомольскую организацию, где состоял на учете, а друзьями — ребят, сидевших за одной партией. Я считал себя достаточно яркой индивидуальностью, чтобы неплохо прожить без коллектива, одному. Мне не было от этого особенно тяжело, хотя я чувствовал, что чего-то в моей жизни не хватает. Я жил как бы на маленьком изолированном острове. А теперь? Теперь я до самого конца понял, что такое настоящие друзья, дружба. Встал лицом к людям. Остров затопило, а я вышел на материк. На громадный, безграничный материк. И теперь я навсегда с вами. С тобой, Генка, с тобой, Лев, со всеми вами, дорогие мои друзья! Да, я многому научился и на свекольных полях, и на Бабархане, и на суде, и на том собрании, и на току, и в палатке. С вами, друзья, я готов встретить любое испытание. И если нужно будет поехать в тундру или в Арктику, я первый отнесу в ЦК комсомола свое заявление, и большего не будет для меня счастья, чем знать, что вместе со мной на стол секретаря кладут заявления мои верные друзья.

«Ту-у» — поставил точку паровоз и заволок окна рваными клубами белого дыма.



М а л ь к о в Владимир Васильевич,  
Ш е н к м а н Стив Борисович  
„ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ“

Редактор В. М. Чикул  
Художник Ю. М. Вечерский  
Художественный редактор И. Ф. Федорова  
Технический редактор Н. М. Тарасова  
Корректор В. Д. Рыбакова

---

Сдано в набор 23/1 1961 г.  
Подписано к печати 24/II 1961 г.  
Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Объем: физ. печ. л. 1,0;  
условн. печ. л. 1,64; учетно-изд. л. 1,52. Тираж 100000.  
А-01968. Цена 4 коп. Заказ № 2154.

---

Госториздат — Москва, Б-64, ул. Чкалова, 38 — 40.

---

Типография № 2 им. Евг. Соколовой  
УПП Ленсовнархоза.  
Ленинград, Измайловский пр., 29.



*Находятся в печати  
и выйдут в свет  
в БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ  
следующие брошюры в серии  
„ ИЗ ЗАЛА СУДА“*

*Монахов В. И.,  
Возвращение, 7 коп.*

*Рубежов Г. С.,  
Человек споткнулся, 5 коп.*

*Черменский И. В.,  
Это случилось в Приволжском,  
7 коп.*

*Яновлев Г. Я.,  
Товарищ следователь, 6 коп.*

*Брошюры поступят в продажу в  
магазины книоторга и потребитель-  
ской кооперации.*